

Станислав Божко
Зеркала





Автобиографическая справка

Я родился на северной окраине Новосибирска, между огромным рабочим гетто в овраге речки Ельцовки, текущей через город, и границей соснового леса, начинавшегося почти рядом с моим бревенчатым домом. Это был 1947 год, и около полутора миллионов человек тогда умерли от голода в моей только что «победившей фашизм» стране. Но в моей тарелке всегда была еда — мои родители и дедушка с бабушкой были работающие горожане, а я был единственным ребёнком в семье.

Недалеко, через улицу, располагалось училище МВД, и несколько раз сквозь оконное стекло я видел, как курсант с овчаркой гнался за странным человеком в ватной маске и с длинными, как у Пьеро, рукавами толстого ватника. Иногда мне удавалось наблюдать и завершение действия, когда собака рвала упавшего и далеко летели клочья ваты. Так, тогда ещё не понимая происходящего, я оказался свидетелем главной игры моего столетия — охоты на человека.

Зимой я сопротивлялся холоду, прущему с низовьев Оби, ходил в детскую библиотеку кожевенно-обувной фабрики, и играл в войну с окрестными пацанами. Война была близко позади, и играли в неё ещё серьёзно, и книжки читали все о ней, так что, когда много лет спустя я попал не на отцовскую, а на «свою» — в Чечню, у меня было сплошное «дежавю», и долго никак не понималось, что всё это не понарошку.

А тогда, в 1954–1955, инвалиды на деревянных платформах с подшипниковыми колёсиками шпалерами сидели вдоль улицы, ведущей от мясокомбината к ЦПКиО, а наглядная агитация цвета золота

в лазури над их головами доходчиво повествовала о прекрасном мире, в котором жили все мы. Так что путь от Жюль Верна к Шаламову был для меня не очень долог.

«Колымские рассказы» я впервые прочёл шестнадцатилетним в новосибирском Академгородке. Тяжесть этого чемодана с фотокопиями до сих пор в памяти, как дополнительное измерение земной гравитации.

Потом был Томский университет, мотня с местной гэбнёй, для которой ни Шаламов, ни Оруэлл не были авторитетами, сторожевое и организация подпольного культурологического клуба по месту работы в оранжерее РСУ горзеленстроя. А потом, когда выгнали и оттуда, — шашка — сезонные работы, впрочем, длящиеся почти два десятилетия все четыре времени года.

С профессиональными противниками режима я познакомился только в конце 1980-х. Моя будущая жена была сослана в один из райцентров на берегу Оби, и она же, когда ссылка кончилась и мы переехали в Москву, ввела меня в круг диссидентской элиты.

А потом был Северный Кавказ и работа в качестве миротворца, правозащитника, спасателя во время Грузино-Абхазского конфликта, в ходе 1-й и 2-й Чеченских войн (1994–2000).

А потом пришло время осмыслять и свидетельствовать.

Время года — война

*Памяти Лены Петровой, Нади Чайковой,
Наташи Эстемировой, Виктора Попкова.*

Попасть на неё было легко. Раскачивался вагон метро, автобус во Внуково давил грязный снег, деловитые, как муравьи, люди с ночного спецрейса в Тбилиси, отрешённо улыбаясь, несли в самолёт канистры с бензином.

Через неделю, лёжа на мешках с мукой в трюме кораблика без огней, на ощупь пробирававшегося в осаждённый Сухуми, я писал в дневнике:

«Время года — осень. Год — 1992. Война на Кавказе».

Я хорохорился и делал ставку на ясность. Хотел привезти оттуда «Записки о Галльской войне». С ночного берега доносились автоматные очереди. Ветер упаковывал их в тёплую влажную вату. Смерть была далёкой и пахла морем.

Потом была зима 1995 года и горящий Грозный, уже насквозь пропитанный смертью.

В сумерках полз по холодному пахнущему мазуту месиву, бормоча: «Хорошо умирает пехота, и поёт хорошо хор ночной...», и когда приподнимал голову, видел только бугорки шинелей, припорошённых нетающим снегом.

Пехота умирала плохо, хор скандировал что-то несусветное: «Национальная безопасность... Распад России... Реформы...».

А в жаркой мгле, пахнущей ужасом и соляжкой, плыли, покачиваясь, тени в чёрных полумасках — саранча, окружённая огненной оболочкой и маленькими смерчами пепла. Как-то раз, когда они исчезли и замолк остывающий всю ночь бетон, откуда-то из

развалин приползла старуха, позвякивая жестяным ведром, и стала рыться в золе, отыскивая обгоревшие кости сородичей.

Я попал туда в составе правозащитной группы и сразу же оказался внутри движущейся в режиме перемалывания всего окружающего машины уничтожения. Отдельные узлы этого устройства иногда ломались, и тогда через образовавшиеся щели удавалось вытянуть наружу несколько потенциальных жертв. Но в целом она работала достаточно эффективно, и всё больше людей, словно персонажи рассказа Кафки, сползало в зону «низших областей смерти». Они ещё подёргивались, пытаясь не только выжить, но и собрать заново распадающийся вокруг них привычный мир. Внезапно возникающий из зазеркалья самолёт-штурмовик или залп градового огня не оставляли им ни одного шанса. Впрочем, вместе с человеком уничтожались и его окрестности: дорога, кошка, дом, дерево.

2000 год. Всё то, что виделось случайным и обратимым, вызрело и попыталось рассказать о себе. Я учился вслушиваться в предсмертное косноязычие вещей. Люди уже молчали, и только пепел шуршал «о том, что значит: сгореть дотла».

С какого-то момента я начал понимать, что выгорели сами смыслы, корневая система того, что осуществилось, но не сумело продлиться. Осталась только зола. И история золы.

Всё остальное: родник, превращённый в воронку с изувеченными трупами по краям, автобус с детьми, подорвавшийся на противотанковой мине, сожжённая библиотека — было довеском к тому, что уже совершилось в глубине. И поэтому выпало в осадок, став недоступным для понимания и оценки.

Пока я не догадался, что единственное условие, при соблюдении которого увиденное сохранит себя, состоит в моём отказе от них. Нужно просто смотреть. По возможности, становясь тем, на что смотришь. И пробуя взглянуть на мир оттуда, изнутри.

Камин

Я смотрю на выцветшие, как старая фотография, зимние пальмы и на чёрные фигурки гвардейцев Мхедриони, тяжело бегущих ко мне. Они кажутся муравьями, вязнущими в мокром песке. Деловитыми чёрными муравьями, почти неподвижными на фоне грязного холодного прибора.

Я — мёртвая обугленная коробка со скрученными огнём межэтажными балками и застывшими водопадами битумной смолы в водостоках. С почти невесомыми коконами, хранящими форму книг, на металлических стеллажах библиотеки. Иногда, вслед за порывом ветра, из них с едва слышным шуршанием выпархивают хрупкие пепельные махаоны. Если повезёт, то на брюшке одного из них можно увидеть несколько букв. Чуть выпуклых и угольно-чёрных — на сером.

Но лучшее, что сохранилось во мне, — это изразцовый камин в гостиной с провалившимся полом и небом вместо потолка. Маленький голубой камин.

Висящий в пустоте.

Сердцевина репейника

Он лежит ничком, вцепившись пальцами в дужку уже проржавевшего ведра, едва различимый в грязной траве, терпеливо оплетающей его тело.

Житель одной из ячеек в серой девятиэтажной стене, не вернувшийся с водопооя.

Ракетные удары из-за реки, изредка оканчивающиеся долгим органным воплем вспоротого железобетона, слегка встряхивают залитый холодным светом склон холма, и тогда я вижу, как из пустеющих на глазах лиловых черепов репейника взлетает лёгкий пух и плывёт над дорогой.

Автобус ещё доползает сюда из центра, но в домах давно нет тепла и почти нет еды. Вечером, когда стрельба немного стихает, жители спускаются за водой и топливом на огромную болотистую свалку позади ржавеющих рельсов железной дороги, и те, кто возвращается, разводят крошечные костры на лестничных клетках, чтобы сварить болтушку из остатков кукурузной муки.

А ночью хоронят убитых за пустыми железными гаражами.

Сфера Шварцшильда

Когда грузовичок подбросило и развернуло поперёк дороги, я, выбрасываясь на асфальт, увидел (одновременно со вспышкой ударившей рядом мины) два громадных багровых нарыва с чёрной клубящейся каймой, лопнувших над домами метрах в ста от нас.

Грохнуло так, что все окружающие звуки перестали существовать. Проводник подхватил мешок с хлебом и исчез в ближайшей подворотне. Отплывываясь набившейся в горло цементной пылью, я нырнул вниз, ударившись плечом о какой-то выступ, и побрёл по коридору на слабый свет и запах дыма.

В голове гудело, и я не совсем понимал происходящее. Прежде всего нужно было догнать проводника и выяснить у него, где мы. Это была правильная мысль, и я уцепился за неё и не отпускал, пока не оказался в помещении с костром посередине и двумя десятками людей в узких зелёных повязках через лоб, чёрных комбинезонах и с автоматами.

Оглядевшись, я протиснулся к костру, где уже сидел проводник, подбрасывая в огонь лакированные обломки какого-то стенда. Там горело: «лучш...» и «лю...»

Лучшие люди горят, подумал я, заметив молящегося на коврике по другую сторону костра молодого чеченца.

Он ещё не успел подняться с колен, как подвал «накрыли». После нескольких тяжёлых ударов сверху один из снарядов пробил перекрытие. Взрыв разметал костёр и людей, превратив воздух в едкую непригодную для дыхания непрозрачную взвесь. Капляя и толкая друг друга, мы отступили в последний тупиковый отсек нашей идущей ко дну бетонной субмарины.

Здесь были нары, и на них вповалку, прижимая к себе оружие, спали ополченцы. Кто-то сунул мне ломоть хлеба, тотчас же побелевшего от цементной пыли. Молот продолжал бить по подвалу. Подняв вверх свободную руку и прижав ладонь к низкому потолку, я ощутил тонкую вибрацию перекрытий, отдающуюся ломотой во всём теле.

Я сел на пол, привалившись спиной к нарам, и, закрыв глаза, почти сразу нашёл едва различимую в летних сумерках тропу, петляющую между сосновых корней. Потом шагнул раз и другой по тёплой, слегка покалывающей босые ступни коричневой хвое. Пока на ощупь.

Философия по краям

Внутри ушных раковин потрескивало, как в испорченном транзисторе, и ему казалось, что там лопается подсохшая корка из крови и цементной пыли.

Пыль была везде, и он постоянно удерживался, чтобы не расчёсывать гноящиеся ранки на руках и лице. Пока ему везло. Осколка, даже самого мелкого, не досталось ни разу — это была только острая бетонная крошка, не проникающая глубоко внутрь тела, но его беспокоило другое.

Уже несколько дней он почти ничего не слышал, вернее, слышал с какими-то необъяснимыми перерывами. Как будто кто-то неизвестный включал транзистор внутри головы, а потом, всегда неожиданно, — вырубал его. Это было опасно, потому что он уже немного ориентировался в том звуковом хаосе, который сопровождал движение под обстрелом, и потерять слух в этих обстоятельствах значило почти наверняка — перестать быть. К вечеру он оказался недалеко от университета, и когда слух включился в очередной раз, он подумал, что бредит.

Бой шёл рядом с ним. На углу улицы ярко пылал, булькая в огне, как закопчённый туристский котелок, Т-72, только что подбитый гранатомётчиком, а в тени военного фургона лежала белая мумия — забинтованный с ног до головы тяжело раненный ополченец, и кровь, пробиваясь через бинты, на глазах превращалась в бурые египетские пиктограммы.

Он подумал, что если немного сосредоточится, то, наконец, прочтёт «Книгу мёртвых» в оригинале, и тут же забыл об этом.

В пыли глохли автоматные очереди, но отчётливо звучала невозможная здесь человеческая речь,

и он, стараясь не терять чувство юмора, решил, что в атаку подняли студентов философского факультета. «Хайдеггер, Кант!» — кричали бодрые голоса, и опять: «Хайдеггер, Кант!»*.

В этот момент он перестал слышать, и его скрючило в приступе рвоты, когда он увидел, как из второго загоревшегося танка стала выползать чёрная масса, всё уменьшаясь в объёме, словно кто-то быстро сжимал в невидимом кулаке тубик с икрой, и он не мог понять: почему она не горит, пока не различил чуть колеблющиеся в почти кипящем воздухе контуры человеческого тела.

Самашки

Ты вжимаешься в спинку сиденья, — между тобой и водителем чёрный стёганный горб двигателя, — пока не продавливаешь её до металлических рёбер каркаса, и боль в спине чуть трезвит, заставляя сосредоточиться.

Голова плывёт в привычной «восьмёрке». Вверх и направо: там — внимание — четыре хлопка за лесом, — по короткой дуге налево, вниз, потом — чуть вперёд и опять — вверх. Взгляд, не видя, скользит по прозрачным февральским деревьям, по белой полоске неба над ними, откуда, нарастая, нанизанные на невидимую дугу, летят к тебе шипение и визг, и — останавливается на чёрной в мелких трещинах ленте асфальта, падающей под колёса.

С этого момента ты перестаёшь чувствовать боль в спине, а потом — тело. Ты бежишь из него не

* Гайдеггер, кант — *чеченск. (слэнг)* — Хорошей охоты, парень!

попрощавшись. У тебя совсем мало времени, чтобы втиснуться в капсулу, готовую скользнуть внутрь.

Но вот ты уже в ней, в глубине тёплых ветвящихся тоннелей с рваными дырами на медленно пульсирующих стенах, за которыми другой лес и другое небо, а тело — восковая вода, рвущаяся навстречу самой себе, и ты уже глубже, хотя стекло перед тобой гудит в потоке встречного воздуха, ожидая удара.

Ты ушёл — выпяченная в мир уязвимая оболочка стала едва различимым пятном на карте забытой провинции, откуда всегда запаздывают вести, и ты равнодушно вслушиваешься в чужое бормотанье о чём-то очень далёком, случившемся вне тебя.

А вне тебя рвут металл кабины осколки из вспухшего перед капотом фиолетового куста, и стекло становится густой сетью молочных тропок, по которым никуда не уйти, грохочут комья асфальта по днищу, и сжавшееся время как нитка слюны, всё не цепляющаяся за подбородок.

А из встречной машины (и ты отчётливо видишь это, потому что голова знает своё дело, крутя «восьмёрку») рвётся огонь, и тело женщины, распятое на сорванной взрывом дверце, раскручиваясь, летит над дорогой.

Воронка

Воздух был холодным и совсем прозрачным. Бетон за ночь остыл и отвечал на редкие взрывы глубоким, очень чистым звоном. Каждый раз это было, как звук большого колокола в записи, запущенной на порядок быстрее.

Он стоял, прислонившись привычно ноющей спиной к горячему капоту «уазика». Улица была пу-

ста, и узкие полосы снега, синие в тени домов и ослепительно белые — на солнце, казались косыми линейками в ещё не начатой школьной тетради.

Он ощущал пространство вокруг как глубокий вакуум. Оно было с иголочки новым и совсем пустым: отсутствовали ставший уже привычным запах смерти, и плотный шум, с которыми он уже свыкся за последние дни.

Он всё же глубоко вдохнул, прикрыв уставшие от света глаза, и это было, как ночью дома в темноте найти и глотнуть прозрачную чуть загустевшую в морозильнике водку.

«Заканчивается Первое Бардо, — подумал он, — и ты пробуждаешься и понимаешь, что умер».

Он вспомнил продуктовый базарчик, раскинутый по внешнему обводу большой бомбовой воронки на пересечении федерального шоссе и дороги, ведущей из Города, и тень вчерашнего взрыва, лежащую на лице торговки, продавшей ему горячую ржаную лепёшку. Он вспомнил, как она пристально и тупо глядела на него, пока он напаривал деньги в глубоких карманах куртки.

«Промежуточные состояния», — подумал он.

Эта хреновина ежедневно падает на перекрёсток в одно и то же место, уничтожая, а потом снова и снова воспроизводя этот базарчик и этих людей.

Внутри смежных областей смерти.

Как навсегда поставленный на фиксированное время будильник.

Безотказный «Чьенид Бардо».*

* Чьенид Бардо (Chos-nuid Bar-do) — Второе Бардо. Термин из тибетской «Книги Мёртвых», обозначающий промежуточное состояние ясного сознания, наступающее после завершения Первого Бардо, когда познающий пробуждается и сознает, что умер.

В серебристой лунной мгле

— Всё сущее увековечить... — вспомнил он. — А на хрена?

Здесь, над пустыми черепами зимних репейников уже соткали свой холст железные машинки, безупречно исполнившие обратное действие...

Бой ушёл далеко вверх, туда, где над скальным разломом в быстро гаснущем небе косо висела половинка луны. И судя по наступившей тишине, закончился во тьме за порогом перевала.

— *Mare tenebrarum*, — прошептал он, внезапно увидев больших красноватых рыб, остервенело штурмующих водопад, беззвучно ревуший по ту сторону глазных яблок. Некоторые из рыб извивались, насадив себя на острые пластины скал, выступающие из кипящей воды.

Он начал осторожно запрокидывать голову назад, одновременно стараясь забросить в сетчатку глаз тусклые, быстро теряющие объём камни на круто обрывающейся в ночь тропе. Он пытался поднять их полупрозрачный отпечаток вверх, совместив его с той частью планеты, которая (вместе с нарастающей болью в позвоночнике) была только жёлтым зеркалом, проецирующим из себя мир этого ущелья.

«Просто — двойная планета, — подумал он, — и ты кровоточащая рыба, пытающаяся пробиться в далёкое лунное море сквозь интерферирующий прибой отражений».

Обетованность мира, в тёмную плоть которого он вдавливал спину и затылок, была только иллюзией, беспомощно трепыхающейся в холодных ладонях Бога. Но эти ладони, начисто лишённые линий жизни, безнадёжно потусторонние, всё же были ближе человеческому телу, чем горы вокруг.

Всего-то и нужно — двигаться вверх внутри светового кипения, чтобы стать той частью мира, которая отделилась.

Бухта Казачья

Время здесь давно и безнадёжно остановилось, и только трава, не знающая об этом, настойчиво лезла в стыки плит взлётно-посадочной полосы. Тени чаек скользили по выщербленному бетону. Хриплые крики сверху напоминали ему невнятные переговоры авиадиспетчеров перед заходом борта на посадку. Но полоса оставалась пустой, и ровный тёплый ветер закручивал маленькие смерчи пыли в распахнутых воротах ржавеющих ангаров. Говорить, собственно, было не о чём — крики птиц и настойчивость травы давно ничего не значили.

Для всего этого уже не было слов — он почувствовал, что как-то незаметно оказался по другую сторону говорения, в потоке, растворяющем не только неповоротливые тела высказываний, но и кванты бормотания и крика.

Он лежал рядом с заросшим полынью капони-ром и записывал в блокнот:

*Здесь не возьмёт ясак вершковый Алим-паша,
Хлопает пустотой аэродромный колдун.
Видимо, этот мир перековал Левша,
И спятивший механизм стрекошет: «Кун-дун, Кун-дун».*

«Точат ятаганы для новой атаки», — думал он.

Но даже если она удастся, их боевой опыт не сможет быть засвидетельствован. Разве что травой кермек да выскобленными ветром домиками улиток.

Этнограф

Солнечный ветер дул с моря ровно и постоянно. Казалось, что это тонкая и чистая вибрация окружающего его пространства. Он перевёл взгляд от разбросанных по столу блокнотов с текстами интервью на кромку гор в проёме большого окна.

Здесь, среди этих красот, ему было необходимо максимально уйти в себя, чтобы найти корректную версию, выстроить язык того, что отчаянно сопротивлялось, не желая становиться нужным ему текстом.

«Язык — дом бытия», — вспомнил он.

Но с каким месивом обломков приходится работать внутри этих развалин. Он знал, что жизненные траектории многих из тех, с кем он разговаривал в последние месяцы, уже оборвались. И не записи в полевых дневниках, а искалеченная и обгоревшая плоть, смешанная с зимним щебнем, только она была как-то связана с непрерывно звучащими в его голове гневными выкриками, жалобами и мольбами о помощи, обращёнными неизвестно к кому.

Невыносимым было то, что для его работы — всё это являлось только «фоном», «информационным шумом», уничтожающим — так он думал — саму возможность понимания и, следовательно, опережающего смерть разумного действия.

Он ещё не знал, что попал в место, где его разум уже ничего не значит, в место, где быстрота и точность его восприятия только увеличивает скорость смещений относительно сути событий, и что этот «шум» и есть тот нерастворимый осадок, который наделяет происходящее чёрной благодатью окончательного, но неизбежно ускользающего от фиксации смысла.

«Эпистемологически безупречная позиция», — усмехнулся он, вспомнив, как, вжимаясь спиной в бетонный блок на краю Грозненского трамвайного парка, пытался, сдерживая тошноту, думать о той, непрозрачной для восприятия фактичности, безупречно защищающей и такой же холодной и безнадёжной, как железобетон за его спиной, об опыте понятийного описания, который, впервые в его жизни, давал сбой, и — снова давал сбой, и переставал что-либо значить.

«Остаётся атака, — думал он, — не сбор данных в особых условиях, но стратегическая интервенция, отчаянный ночной прорыв в глубоко эшелонированные системы защиты домена смерти. Остаётся только слабый мерцающий свет...»

*Абхазия–Чечня–Дагестан–Москва
1994–2014*

Содержание

Автобиографическая справка

4

Зеркала

6

Встречи

Переводчик. *Густав Шпет – ссылка и гибель*

132

В сторону Полины

139

Полина Жеребцова

Муравей в стеклянной банке

Чеченские дневники 1994–2004 гг.

143

Время года — война

153

Три встречи

Двойная экспозиция

Акутагава Рюноске

166

Март

Осип Мандельштам

167

Три встречи
Памяти Рэя Бредбери
169

Джером Дэвид Сэлинджер
171

Герман Гессе
250 кубических метров
173

Беловодье 2.0
Наброски к сценарию
175

Рецензии

Г.Д. Гачев.
Осень с Кантом
178

Александр Неклесса
Люди воздуха, или кто строит мир?
179

Пауль Целан
Материалы. Исследования. Воспоминания
181

Иштван Бибо
Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года
182

Ольга Седакова
Два путешествия
184

Арон Шнеер
Из НКВД в SS и обратно
(Записки штурмбанфюрера)
185

Владимир Крюков
Линия ветра. В области сердца
187

Избранные стихи

«Островные созвездья над морем холодным...»
190

«Nomina astrorum odioza sunt»
191

«След мышки — застёжка-молния на пуховике...»
192

«Родина — горький дым в самом конце пути...»
193

«И в усмешке вождя, и в неловкой ухмылке...»
194

Воспоминание о шестидесятых
195

«Ледяную слезу со щеки сотри...»

196

«Опустевший Дахау. Лето. 39-й год...»

196

«Ты так прозрачен и пуст...»

198

«Ты думаешь, нанизывая слово, а после...»

199

Урсула Ле Гуин

Фонтаны. Из «Сказаний Орсинии»

Перевод: Лика Божко, Станислав Божко

200

Николай Серебрянников

Пресловутая теплица

205

Владимир Каганов

Поздний стоик

215

Владимир Климов

Из стихов об известных солдатах

215

Редактор В.П. Ерохин

Дизайнер Р.Б. Гершзон

Автор фотографии на титульном листе

Григорий Санников

На обложке

репродукция картины Маурица Эшера

«День и ночь»

УДК 882-92
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б76

Станислав Божко

Зеркала. —

М.: Волшебный фонарь, 2015. 222 с.

ISBN 978-5-903505-29-6

ISBN 9785903505296



© С.В. Божко, текст, 2015

© Г.С. Санников, фото, 2015

© «Волшебный фонарь», макет, 2015

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»

121099, Москва, Шубинский пер., 6.

Формат 84х108/32

Объём 7 п.л.